

— Помнишь,— сказал офицер,— много лет назад сюда часто ходила одна девочка, ее звали Малка?

— Помню,— ответил Акива.— Прикажете что-нибудь передать, господин сержант?

— Если ты ее увидишь,— попросил офицер,— передай ей, пожалуйста, что ей кланяется Муса. Ты ее увидишь, старик?

— Она — моя жена! — вскричал Акива.

Офицер сперва улыбнулся, потом смутился, побелел, как и Акива, и ушел, ничего более не сказав.

Придя домой, Акива уставился в большие глаза жены.

— Малка,— сказал он, подвергая ее испытанию,— Муса приехал.

— Муса? — спросила жена.— Не помню.

Акива видел: ее ответ не был ложью. Она в самом деле не помнила Мусы, и только поздно ночью Малка воскликнула:

— Это тот мальчик из кинематографа, Акива?

Она угадала в темноте его утвердительный кивок и спросила:

— Но он же вырос, Акива? Он солдат?

— Он — офицер,— ответил Акива, мрачней.

— Ну? — с восторгом воскликнула Малка.— Муса из Медре — офицер!

Он возненавидел ее в эту минуту за ее восторг.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Гордон встретился с Акивой у Стены Плача. Старец его не узнал. Но и Гордон с удивлением узнавал в этом окрепшем седом человеке прежнего дряхлого учителя. Акива был чисто одет, его черные башмаки блестели. Он рассказал о своей неожиданной встрече в доме наборщика. Там, оказывается, знали Акиву. Юная Малка была подругой Лии. Так звали некрасивую дочь наборщика. Через тысячелетия унаследовала она от праматери Лии свою некрасивость. Но Лию, дочь Лавана, ночью подсунули в постель праотца

Якова вместо Рахили, и дурнушка получила мужа. В наши дни этого нельзя было сделать. Лия, дочь наборщика, давно созрела и перезрела. Если в доме появлялся холостой мужчина, его ловили на удочку, как рыбу, насаживая на крючок в качестве приманки множество мелких услуг. Его хорошо кормили, ему чинили белье и костюм, ему дарили бритву или письменный прибор. Но мужчины исчезали, и в доме бывали лишь старинные знакомые, которые давно перешли на роль помощников в поисках жениха и тем спасались от назойливых услуг и неприятного положения, невыносимого для достоинства человека.

Был на исходе месяц пребывания Гордона в доме наборщика. Шухман и Гублер не приезжали. Они, видно, забыли о своем попутчике; стал забывать о них и Гордон. Он решил найти временную работу в Иерусалиме, но поиски его были напрасны. Как-то на улице попалась ему знакомая машина.

— Алло! — крикнул шофер. — Ну что делаете?

— Ничего.

— Я же вам сказал: надо ехать в Тель-Авив.

Шофер ядовито посмотрел на Гордона и спросил:

— Вы еще не организовали свою рабочую партию?

— Здесь много партий?

— Еще бы! — сказал шофер. — У нас мало рабочих, но партий много. Ахдус-Гаавадо — раз, Гапойель Гатцейир — два, Поалей-Цион — три. А сама Поалей-Цион это уже не одна партия, а как бы две. Одни считают себя коммунистами, а другие называют их предателями... настоящие коммунисты, видите ли, это они... то есть те, другие... Почему же вы здесь торчите? Хотите присоединиться к Халуке? Вам же нет еще шестидесяти лет!

— Скоро поеду, — ответил Гордон. — Я здесь ждал своих товарищей.

— Что касается меня, то я двину в Египет, — сказал шофер. — Вот где можно заработать! Вы ничего не слыхали про Каир?

— Нет, — ответил Гордон. — Вы бросите Палестину?

— Я уже здесь пять лет, — сказал шофер.

— А идея? — спросил Гордон. — А наша родина?

— Я же говорил, что вам надо срочно ехать в Тель-Авив. С такими разговорами вы там не пропадете. Наши купчики из России любят идейных. Только не просите у них прибавки. Это у них неидейно. Понимаете? Я вчера сказал Лазурскому: «Господин Лазурский, я у вас работаю пять лет шофером, а получаю как сторож». Вы знаете, что он ответил?

— Кто это Лазурский?

— Главный управляющий «Солель-Боне». Он мне сказал так: «Молодой человек, наша страна еще слабая, — подождите, вы же из Халуции». Нравится вам такой ответ? Ну, адью: я должен спешить...

Машина уехала, а Гордон пошел домой. Ему было неловко перед хозяином, что он не нашел до сих пор работы. Однако тот не ворчал. Наоборот, это была удача. Он приготовился к тому, чтобы женить Гордона на своей дочери. Вот уже две недели, как ему стирают и чинят белье, как его угощают варениками с творогом за обедом и кислым молоком по вечерам.

— Пойдем в кинематограф, — говорила Лия.

— Не хочется, — отвечал Гордон.

У нее были контрамарки, полученные от Акивы, и ей было досадно, что она не могла насадить на удочку эту немалую приманку. Нет, не дочь сионская то была, пляшущая под пение тимпанов, а серая криворотая девушка с таким полным нетерпимости сердцем, что, уколовшись о ее злобу, Гордон избегал с ней разговаривать. Нет, Гордон не мог на ней жениться, тем более, что в конце месяца встретил у Стены Плача высокую девушку, — здоровую, светлую и пахнущую айвой. Не опаленная солнцем сионская дочь попалась ему на пути, но туристка-датчанка, приехавшая поглядеть на паломников всех наций. В этот день она любовалась фанатиками-евреями, прилипшими своими губами к жирным мхам уцелевшей стены второго храма.

Она приняла Гордона за гида. Она заговорила с ним по-немецки.

— Господин,— попросила она,— расскажите мне побольше об истории этой стены и этих людях.

— Охотно,— ответил Гордон.

Ее удивило, что профессиональный гид говорит так бестолково и на таком ужасном языке. Она была с матерью, и обе с трудом сдерживали улыбки. Гордон ответил ей на плохом и невероятно дико звучащем для нее немецком языке, состряпанном из чахлах школьных познаний и жаргона, с чуть измененными жесткими гласными. Он проводил их до итальянской гостиницы, где они жили. Молодая датчанка открыла сумочку.

— Не надо,— сказал Гордон: — я — не гид.

Мать и дочь были скандализованы.

— Как же так? — произнесла мать.

— Разрешите мне притти к вам на-днях в гостиницу. Есть очень многое в еврейских кварталах, что можно вам показать.

— Очень интересно,— сказала молодая датчанка.— Приходите завтра.

Гордон пришел. Он водил ее по еврейским улицам и объяснял историю еврейского народа. Она взяла его под руку. Гордон не знал, что делают мужчины в тех случаях, когда женщины берут их под руку: надо ли вить под руку ее или же покориться и опустить свои руки в карманы? Или одну заложить за пазуху, а другой болтать, как на параде? Он всего этого не знал, и ему было тяжело, когда она брала его под руку. Они гуляли два часа. Они отдыхали в двух садах. Садясь на скамейку, она раскрывала сумку, красила губы. Она пахла айвой.

— Приходите завтра.

Гордон пришел.

— Рассказывайте.

Он рассказывал ей историю ребе Акивы. Она смеялась.

— Возьмите меня под руку,— сказала она.

Гордон не знал, как нужно брать под руку: следует ли держать ее за локоть, или обхватить запястье, или же можно переплести ее пальцы со своими? Они гуляли

три часа. Она красила губы, взбивала волосы, пахла ай-вой.

— Приходите завтра.

Бродя с ней по улицам, он то опускал глаза, то подымал и смотрел ей в лицо. Она, должно быть, и не подозревала о его любви.

Нет, они приехали не из Дании. Эта небольшая семья, состоявшая из одного руководителя и одного руководимого, прибыла в Палестину из города Таллина. Так называется сейчас бывший город Ревель в бывшей Курляндии. В нынешней столице Эстонии есть несколько лютеранских церквей, две синагоги и один костел. В нынешней столице Эстонии есть Нарвская улица. По ней ходит трамвайная карета — этакий ублюдок, полученный от скрещения трамвая и кареты. На Нарвской улице есть кафе «Черная кошка», есть кафе «Олимпия», есть еврейский ресторан «Кошер», есть ювелирные магазины и два десятка правительственных учреждений. За Нарвской улицей — гниловатый и желтоватый Су-рожский залив, и на его берегу — распотрошенный Балтийский судостроительный завод. В ревельском театре идут русские пьесы: «Гроза», «Цена жизни», «Осенние скрипки». В пьесах играет Елизавета Тимофеевна Жихарева. У нее трагическое лицо. У нее растут две дочери. У них лица простые, трагедийность матери ими не унаследована. В городе Таллине очень много рабочих, мало матросов. В гавани стоит флот. Это — пароход «Алексей Михайлович».

Вот откуда приехали мать и дочь Бензены. Эта семья была одной из тех семей, где между матерью и дочерью нет никакой разницы. Это не два поколения, и тема отцов и детей здесь совсем не к месту. Это две подруги, из которых одной двадцать лет, а другой — сорок пять. Чувство товарищества, общности было у Бензенов велико.

— Нам надо выйти замуж, — говорила мать Бензен.

Дочь соглашалась. Мать была разведенной женой. Она покинула своего мужа с согласия дочери: он был беспокойный человек. Неизвестно было, что с ним будет завтра. Такая неизвестность не устраивала ни мать,

ни дочь. «Мы расстанемся с нашим мужем», — сказала мать. Дочь ответила: «Да, с ним надо расстаться».

И дочь и мать были поражены редкой холодностью к прелестям мужчин. «Муж» звучал у них как «отец», как «инкассатор». И точно так же, как при словах «хороший инкассатор» никто и не подумает о каких-то любовных страстях, так мать и дочь Бензены и в виду не имели эти страсти при разговорах о муже. Муж поэтому не мог быть интересным или неинтересным, он бывал либо удобным, либо неудобным. Все же это не значило, что для них не существовала внешность мужчины. У них был свой стандарт, от которого они ни за что бы не отступили. Вот этот стандарт: муж должен быть в возрасте от тридцати двух до сорока лет. Необходимы были густые волосы (цвет почти не имел значения), стянутое книзу лицо, холодноватые глаза, широкие плечи, выдвинутая вперед грудь, отступивший чуть назад живот и длинные ноги. Важное место занимали в стандарте уши. От них требовалась наибольшая приплюснутость; малейшая оттопыренность губила стандарт.

Мужу полагалось носить темный костюм, пиджаку же полагалось кончаться у бедер и пребывать постоянно в застегнутом состоянии. Совершенно исключались цветные рубашки, красные галстуки и твердые воротнички. Недопустимы были также и шарфы.

Мужу полагалось чаще молчать, чем говорить. Муж должен был уметь танцевать танго, причем качество это ему следовало проявлять чрезвычайно редко.

Но основой всех основ был заработок в тридцать египетских фунтов в месяц. Крупные деньги, богатый наследник, миллионер с яхтой — все это было вне плана.

Мать и дочь Бензены приехали искать мужа в Палестину. У матери были знакомые в итальянской духовной миссии. Она надеялась быть представленной самому епископу Брассалине. Уже три месяца жили они в Иерусалиме, встречались со многими мужчинами и бывали на вечерах. Ни один из встреченных ими не приближался к стандарту. У Гордона оказалась часть

качеств — волосы, подбородок, уши, плечи, живот. Но плохо обстояло с костюмом (он носил русский зеленый френч), плохо было с рубашками, плохо с воротничками и совсем плохо — с заработком. Ко времени их знакомства Гордон уже работал. Он вывесил в окне объявление:

«УЧУ РИСОВАНИЮ, БЕРУ ДЕШЕВО»

В Иерусалиме жил богач-садовладелец Иона Апис. Он любил все дешевое. У Аписа был сын, десятилетний мальчуган Илья. Как это часто бывает с детьми богачей, он не умел рисовать и не обладал никакими способностями. Мальчик любил вырезать кораблики и паровозы.

— У вашего сына талант художника, — говорили соседи.

— Если недорого, почему не нанять учителя? — решил богач-садовладелец.

Он вызвал к себе Гордона.

— Я бы хотел посмотреть, — сказал он, — что вы умеете? Годитесь ли вы для того, чтобы учить моего наследника?

Гордон принес небольшую коробочку для мелкой монеты с резным изображением фараоновой дочери, вылавливающей из воды просмоленную корзинку с плачущим младенцем Моисеем.

В гостях у Аписа сидел Пинхас Зильбер, один из руководителей Бецалела. Он схватил коробочку и стал плевать от восторга.

— Вы же — молодой человек! — воскликнул Зильбер. — Откуда вы знаете, что женщина может быть так хороша? Господин Апис, он же сделал ее такой бледной и с таким тонким носом, что это опасно брать в руки. Это уже не дочь фараона, а сама Лилит. Нет, посмотрите на корзинку, в которой лежит ребенок! Вот только Моисею нашему он сделал такой нееврейский нос, что просто поражаешься, чего ради этот Моисей так много возился с еврейским народом...

После такой оценки самого Зильбера из Бецалела Иона Апис назначил Гордону два фунта в месяц.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Через пять недель в Иерусалим приехал, наконец, Илья Шухман и Герш Гублер. Они познакомились там с палестинским евреем Ровоамом Висмонтом. Он заглянул с ними в строительную организацию национального комитета «Солен-Боне», и их взяли на временную работу. Организация решила укатать гравием дорогу от Тель-Авива до Песах-Тикво. Шухман и Гублер получили тележки и целые дни нагружали на них гравий с берегов Средиземного моря. Они ночевали в бараке и сильно загорели на жарком сентябрьском солнце. Уже и первые дни друзья начали ссориться. И хотя они продолжали есть свою кашу и простоквашу из одного котелка и одной ложки, но Шухман как-то сознался Гублеру, что боится за него.

— Ты что — разочаровался во мне? — спросил Герш.

— Еще нет, — ответил Илья, — но боюсь, что разочаруюсь.

Спор возник из-за ночлега. Их барак стоял на краю Тель-Авива. Через весь город тянется вдоль моря нарядная улица имени генерала Алленби. Улица покрыта асфальтом, с утра до вечера мчатся по ней дорогие автомобили — черные и желтые, голубые и синие. По обеим сторонам выстроились веселые праздничные особнячки с садами и гостиницами в швейцарском духе, с черепичными крышами и резными балкончиками, увитыми зеленью. Блещут богатством витрины магазинов, веселые пары сидят на верандах столовых и ресторанов, повсюду мелькают шумные и хорошо одетые туристы в белых шляпах и пробковых шлемах. Играет музыка. Стриженные девушки перебирают клавиши роялей. Идут с пляжа купальщики. На улице Алленби шумно, празднично.

— За мной, — сказал десятник.

Друзья шли за ним через всю улицу, и Герш Гублер все гадал, в каком доме он оставит их ночевать. Наконец улица кончилась. Сразу все стало тихо, пустынно, бедно. За улицей — поле, и посреди поля стояло несколько барачков. В одном из них им отвели две койки.

— Могли бы устроить и получше, — проворчал Гублер после того как ушел десятник: — все же мы свои люди, евреи.

— Начинаются советские штучки, — строго сказал Шухман, — во всем мире рабочие всегда ночуют в бараках. Это же временная работа.

— Но мы приехали к себе домой, в свою страну.

— Заслужишь — тебе дадут квартиру получше, — ответил Шухман.

Он и сам был смущен плохим приемом, но убеждал себя, что так надо и что все правильно. Нет, не это его огорчало. Все равно они скоро поедут в Иерусалим и устроят собственную колонию, где будут жить как самовластные хозяева, на своей земле. Его смутила встреча, какая была оказана новым переселенцам. В конце второй недели в Яффу прибыл пароход с эмигрантами. Группа сионистов обратилась к советскому правительству с просьбой отправить их в Палестину. Они ссылались на декларацию Бальфура.

— Мы едем к себе домой. В лице лорда Бальфура Англия объявила Палестину еврейским государством.

Советское правительство отнеслось к заявлению сионистов весьма иронически, но не сочло нужным препятствовать, и в один из весенних дней 1919 года из Одессы отошел в Яффу пароход с двумя сотнями сионистов.

Ступив на палестинскую почву, эмигранты прежде всего пожелали видеть верховного комиссара Палестины, лорда Герберта Самюэля.

— Лорд — еврей, — говорили эмигранты, — и он захочет поговорить со своими соплеменниками, вернувшимися на свою старинную родину.

К верховному комиссару их не пустили. Петиция эмигрантов до него не дошла. Им был выслан навстречу чиновник из канцелярии лорда. Чиновник был англичанин. Зато их шумно встретил национальный комитет. На пристань явился сам Хаим Вейцман. А вечером, на собрании в Доме Халуцим, был большой праздник. Все пели сионистский гимн: «Ойд лой овдо» и танцевали любимый в Палестине танец — «Ойру».

На вечере выступил военный герой Трумпельдор. Как гордо держал он единственную руку! Как нарядно сидел на нем английский френч, увешанный орденами! Речь его была торжественна, но все же прибывшие распознали в этой торжественности тревожные жалобы. Военный герой Трумпельдор намекал на ограничение маккавейских батальонов. Но оркестр снова заиграл «Ойд лой овдо», снова пошли по рукам бело-голубые флажки, и вечер кончился хорошо. Эмигранты постарались забыть обе обиды — и отказ Герберта Самюэля и тревожные вести о еврейской армии.

Шухман, который сам был огорчен, больше всего боялся, как бы не огорчился его друг. Он был на пять лет старше Герша, но чувствовал себя его строгим отцом и заглядывал ему часто в глаза, стараясь отыскать тени недовольства, уныния.

Работал Гублер отлично, от зари до зари. За работой он пел много песен — был у него очень приятный голос, — и с ним было легко толкать тележки и волочить носилки, груженные четырехпудовой тяжестью. Он оказался непритворливым и в пище, и в ночлеге, и в одежде. «Гонор — вот что губит его, — думал Шухман, — гонор и зависть». Он не может, считал Шухман, вынести чужого благополучия. Илья ловил сердитые взгляды Герша, которыми тот провожал нарядные автомобили, убегавшие по шоссе в Иерусалим. Однажды у барака остановилась на одну минуту синяя машина, и оттуда вышел седобородый человек, которого Шухман боготворил. Это был сам Пинхас Руттенберг — один из главарей комитета.

— Привет вам, еврейские юноши, герои народа, — сказал Пинхас Руттенберг.

— Урра! — вскричал Шухман и строго посмотрел на Гублера.

— Урра! — сказал Герш, и Шухман успокоился.

— Как вы живете? — спросил Руттенберг.

— Хорошо, — раздался голос.

— Нет, — сказал Руттенберг, — вы живете плохо, но вы будете жить хорошо. Сказка стала былью. Не забудьте, что мы с вами — пионеры новой страны.

Он быстро обошел два барака, что-то записал себе в книжечку и уехал.

— Руттенберг — наш гений, — сказал Шухман, еле волоча тяжелые носилки.

— Он высокомерен, — вдруг сказал Гублер.

— Почему? — вскричал расвирепевший Шухман.

— Не посидел, не поговорил с нами... — ответил Гублер.

— Глупый юноша! — сказал двадцатичетырехлетний Шухман. — У Пинхаса Руттенберга столько дел! Каждая минута Пинхаса Руттенберга — золото...

Сейчас друзья сидели в доме наборщика, и за столом, кроме них, находились: Висмонт, Александр Гордон и несколько юношей из Шанхая и Бухареста. Была с ними и дочь наборщика Лия. Гордон держал речь.

— Довольно! — вскричал он. — Слишком долго мы были вегетарианцами. Историк Равницкий прав: у нас нет своей истории. В самом деле: нас выгнали из Испании, попросили из Португалии, били в Германии и России. Какая же это история еврейского народа! Это история Испании, Португалии, Германии и России. И вот...

— Выпейте вина, — сказала Лия, — вы говорите толково. Убедите же, наконец, этого неразумного Висмонта.

Гордон выпил вина. Как это случилось? Все тихо сидели за столом, загадывали свое счастье на случайных фразах внезапно раскрываемых книг, иногда молчали, иногда зевали, иногда о чем-то лениво спрашивали, и вдруг завязался спор. Незаметно появилось вино, зажелтели рюмки. И незаметно для себя Гордон оказался оратором.

Ровоам Висмонт сказал:

— А Жаботинский? А его теория вооруженной силы?

Гордон ответил:

— Не знаю. Впрочем, разговор запоздал: Жаботинский уже разоружен англичанами. Но я говорю о другом: настал день, когда мы получили, наконец, возможность сами делать свою историю. И тут находятся люди вроде тебя, Ровоам, с их вегетарианскими препятстви-

ями. Арабы, арабы! Как это надоело! Я их не знаю и не хочу знать. Я не мешаю им жить и работать, так пусть они не мешают и мне. Жизнь всегда раскладывает на пути препятствия. Если обходить их, прозеваешь жизнь в один зевок.

— Но это настолько ясно, что, по-моему, не о чем спорить,— сказал Илья Шухман.

Дочь наборщика предложила:

— Выпейте вина.

Она любила чуть подпаивать мужчин. Ей казалось, что пьяный Гордон скорее полюбит ее, чем трезвый.

Мужчины выпили вина. Был зимний вечер. Шел холодный иерусалимский дождь. Жители наполняли дождевой водой водоемы. Видно, друзья спорили не впервые. Когда говорил Шухман, дочь наборщика воскликнула:

— Правильно!

— Bravo! — кричала она, когда говорил Гордон.

Но Лия сердито молчала или гневно сопела, лишь стоило открыть рот Висмонту. Она говорила о нем со злобой: он — мапс¹. Из любви к Гордону она сдерживала свою злость. Она знала: Александр любит этого упрямого человека.

Ровоам родился в Палестине. Отец его был одним из первых колонистов Рош-Пино. Пронизанный мечтой о национальной независимости, он бросил свой очаг в России и поселился в песках Галилеи. Когда Рош-Пино стал хиреть, пришло письмо от барона Ротшильда. Сам Ротшильд взялся возрождать палестинские колонии и воспитывать будущее население государства. В лице Ровоама Висмонта барон воспитал врага.

Барон спрашивал в письмах:

— Отчего хиреет ваша колония?

— Мы не в силах продать наше вино,— ответили колонисты: — оно слишком дешево на рынке.

В тот год был отличный урожай.

— Какой удачный год! — говорили, подрезая сухие лозы, неопытные виноградари.

¹ Мапсами называли в те годы в Палестине коммунистов.

Хороший урожай оказался бедствием. Цена на виноград пала так низко, что вывоз к месту продажи обошелся дороже его стоимости.

Управляющий барона написал:

«Храните вино: настанет неурожайный год, и вы с лишкой вернете убытки».

Виноградари из Рош-Пино сообщили управляющему:

— Скажите барону, что нам негде хранить его.

Тогда из Парижа пришли деньги. С деньгами прибыл от барона Ротшильда инструктор. Он осмотрел колонию, выбрал место и построил просторное хранилище для вина. Колонисты перетащили туда свои винные запасы и стали ждать неурожая. Так уцелело от гибели Рош-Пино.

В разговоре с Гордоном Висмонт как-то сознался, что мечтает скопить триста египетских фунтов.

— Триста египетских фунтов! — восклицал он часто. — Я обязательно добуду эту сумму.

— Для чего тебе, презирающему богатство, деньги? — спросил Гордон, удивленный его желанием.

— Я хочу переслать их Ротшильду. Мой отец говорил, что барон истратил на меня триста фунтов.

Он презирал Ротшильда за его богатство. Ненависть к богачам пришла к нему через два моря — из России, из сибирской ссылки. Она пришла к нему в поучительных письмах дяди. Дядя участвовал в польской организации эсеров. Он был арестован по делу известной варшавской экспроприации и отбывал ссылку в Туруханском крае. Письма дяди Ровоам всегда хранил при себе, в своем дорожном чемодане. Это была очень большая стопка: дядя писал часто и много. Чувствовалось, что там — тишина тундры, тишина Енисея.

Илья Шухман знал дядю Висмонта. Летом 1917 года ссыльный приехал в Одессу. Он сразу взялся за революционные архивы. В желтых папках музея выдавливал он тайные имена провокаторов. Он прослеживал всю их работу и, проследив, публиковал о них разоблачения.

К Висмону Шухмана привязала биография отца Ровоама. Висмонт был одним из первых колонистов

страны, стражем пустыни — вот кем был его отец! И привязанность осталась, хотя Ровоам подтачивал ее тем, что не переживал общих восторгов и назойливо напоминал об арабах, в то время когда нужно было думать о евреях.

Шухман как-то сказал Висмонту:

— Значит, ты оправдываешь их ненависть к нам?

Висмонт ответил:

— Нам надо искать выход, не ссориться с ними.

— Какой?

— Не селиться на участках феллахов.

— Значит, уехать в Россию?

— Не знаю.

— Значит, покинуть Палестину? — приступал к нему Шухман.

Знал ли тогда Висмонт, что через короткое время сам окажется на феллахском участке?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В один из вечеров постояльцы решили создать квуцу. Квуцы в то время стали пользоваться успехом. Это были сельскохозяйственные коммуны, созданные выходцами из России.

— Нет,— сказал однажды Гордон,— в этом нет ничего удивительного. Мои земляки покинули Совдепию не потому, что революция была им враждебна,— наоборот, идеи революции нам более чем близки. Но нас тянуло сюда. Революция не смогла прикончить наши национальные волнения.

Дочь наборщика не преминула тогда проворчать, что национализм выше революции. Квуцы она презирала, считая их чуждыми для Палестины.

Как же высказался о квуце Илья Шухман?

Он высказался так:

— Что ж, если квуца способна помочь нашему национальному возрождению, пожалуйста: я не против квуцы! Но если и в нашей квуце пойдут разговоры об едином союзе с арабами, о равноправии древне-еврей-

ского языка и жаргона, об угнетателях англичанах и прочая демагогия, тогда я первый покину нашу квучу.

Он посмотрел на Висмонта.

— Я ничего тебе не могу обещать,— ответил Ровоам,— я ставлю только одно условие: никаких подачек! ни от отдельных лиц, ни даже от сионистского комитета. Согласны?

Илья Шухман согласился. Первые деньги надо было составить из членских взносов; затем надо было взять ссуду в Генеральном сионистском банке. Шухман же наметил количество членов квучы: не более двадцати пяти семей. Остальное будет видно потом.

— Как назвать квучу?

Гордон упросил Висмонта и Шухмана с ним согласиться. Он хотел, чтобы квуча называлась Явне. Явне! Но не в честь старинного университетского города, а в честь темной синагоги на Большой Арнаутской улице, названной по имени старинного университетского города. Так в один из вечеров у наборщика родилось общество Явне. Общество Явне — преддверие к одноименной коммуне.

Уже через неделю Шухман показал своим друзьям список всех двадцати пяти членов:

1. Илья Шухман, двадцать четыре года, холост, из Одессы, внес два фунта.

2. Ровоам Висмонт, двадцать два года, холост, родился в Палестине,— 2 фунта.

3. Александр Гордон, двадцать лет, холост, из Одессы,— 2 фунта.

4. Герш Гублер, девятнадцать лет, холост, из Литина,— 2 фунта.

И еще двадцать один человек. Остальные тоже внесли по два фунта; родом же они были из Минска, Пинска, Двинска, из Лодзи, Варшавы, Ясс, из Браилова, Жмеринки, Конотопа, из Балты и Голты.

Список был утвержден. Потом начались собрания. одно, другое, третье,— очень много собраний. Будущая жизнь в квуче была разжевана на этих собраниях до того, что не одному Гордону казалось, будто он уже

давно в этой квуче живет. Был вопрос о конюшнях, вопрос о школе, вопрос о яслях, о враче. Каждый получил назначение.

Кроме Гордона, остальные отдавали организации квучы все свои часы. Александр делил свое время между квучой и датчанкой. Он обманывал друзей, сообщая им, что уходит то в Бецалел, то к Стене Плача, то в долину Кидрона, то в долину Иосафата. Он врал, говоря, что эти прогулки ему нужны для искусства. И Гордон отправлялся в итальянскую гостиницу на Яффской улице. Он действительно прогуливался по долине Иосафата, но не для искусства, а для любви. Он украдкой покидал дом. Иона Апис нашел ему еще два урока по полтора фунта. Гордон вернул наборщику долг, и жизнь в его доме стала для него независимей и веселей. Все же Лия ловила его, когда он уходил.

— Куда, Александр?

— Прогуляться.

— Возьмите меня с собой, Александр.

— Я люблю бродить по горам один.

— Зачем вы врете, Александр? Вы идете к своей датчанке.

О, она проследила его! Но ее привязанность к нему была утомительна. Она все еще надеялась, пожимала руки, по-собачьи заглядывала в глаза.

Она подсматривала за ним в те ночи, когда он делал у себя в углу миниатюры. Он готовил подарок для Анны Бензен — две коробочки из пальмового дерева. На одной он вырезал Иосафатову долину, воображаемую и легендарную. Черный огонь пожирал трупы грешников. Серый дым стоял над Иерусалимом. Овцы бежали в страхе. На другой он выгравировал праотца Авраама у колодца.

— Кому вы продали ваши миниатюры, Александр? Не врете; вы подарили их Анне Бензен.

О, Лия разузнала имя датчанки! Значит, она подстерегала его в счастливые минуты, караулила за углом.

Мать Бензен уже проникла к епископу Брассалине.

Она часто уходила из дому. Какой это был подарок для Гордона! Когда любишь девушку, тяжело и неприятно видеть рядом с ней ее мать. Гуляя с Анной по улицам Иерусалима, он рассказывал:

— Я скоро уеду.

— Зачем?

— Я стану земледельцем.

— Зачем?

Она замораживала его своим равнодушием. Ей казались ничтожными его идеи и страсти. Жить для чужих? Но кто живет для чужих? Она говорила:

— Это — тщеславие. Ничего больше.

Он уже научился водить ее под руку. Главное — свобода движений, как у актера. Есть минуты, когда надо опустить руки в карманы, и бывают минуты, когда можно переплести пальцы.

Она откровенно созналась ему, что приехала сюда выйти замуж. Так хочет она и мать. Она завела знакомство с чиновниками из итальянской духовной миссии и была представлена самому католическому патриарху, представителю папы в святой земле — епископу Брассалине.

— Нет, — говорила Анна Бензен, — сейчас я даже не могу серьезно толковать о вашем предложении.

Разве Гордон сделал ей предложение? Это был только намек, незначущий любовный намек, давший понять, что чувство зародилось в верховьях любовной реки и что взаимность была бы широким руслом, по которому потекли бы свободные воды. Свободные воды чего? Чувства? И при чем тут верховья любовной реки? Но каждый павлин раскрывает свои перья на свой лад, и павлиньими перьями Гордона были его слова в арабском стиле.

Датчанка говорила:

— Если бы вы были чуть богаче! Мне жаль маму, я хочу обеспечить ей удобную старость. Мне противно смотреть, как она унижается. Вы думаете, я мечтаю об особняке? Нет, милый Гордон: я нуждаюсь в муже с ежемесячным доходом в тридцать фунтов. Только тридцать фунтов!

Тридцать фунтов! В те дни Гордон уже зарабатывал пять египетских фунтов в месяц.

Она смеялась, когда он говорил ей, что может ей быть лишь одной шестой мужа. Но сам думал иное: он не согласился бы даже на пять шестых. Он мог владеть ею без остатка или же быть от нее далеко.

Гордон заговорил с ней о богатстве. Он не слышал еще золотого звона, но разве это было невозможно? Он — художник, а с ними всегда бывает так. Сначала они голодают, потом приходят к ним в избытке и деньги и слава. Когда — потом? Не после ли смерти, как случилось с другим человеком его народа, гениальным живописцем Амадео Модильяни?

Датчанка спрашивала: не покинул ли он Россию только потому, что страна бедна, что там общественный строй не дает развернуться стяжательству?

— Нет, — отвечал на этот вопрос Гордон, — я бежал из России не только по этой причине.

Чувствовал ли он раскаяние?

Сам Гордон не знал, раскаивается ли он. В сердце, полном любви и уважения к идеям человеческого равенства, было также желание разбогатеть.

Пробираясь сквозь джунгли могильных плит тесной Иосафатовой долины, Гордон старался расшевелить холодную датчанку рассказами о детстве. Он спрашивал ее про Данию, но она родилась в Ревеле, о котором не любила рассказывать. Гордон говорил ей о родном городишке вблизи Елисаветграда, где он провел несколько лет. Он рисовал ей маленькую речушку в камышевых зарослях, голубоватую краску мазанок, пестрые ситцы девчат и луга, заросшие одуванчиками и колокольчиками. Цветы, встававшие в памяти голубым и желтым, вызывали из глубин той же памяти краски и звоны ежегодней осенней ярмарки в родном городишке. Это была его настоящая, неисторическая родина.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Случилось так, что друзья нарушили священный свой договор в самом начале. Коммуна могла купить земельный участок только через Banque general Hypothecaire de Palestine. Илья Шухман ходил туда каждый день. Он ездил в Яффу, и в Тель-Авив, и в Кайфу. В банке были удивлены.

— Вы не хотите нашей помощи? Но сколько же де-нумов земли вы рассчитываете купить за ваши пятьдесят фунтов? Покажите ваш устав, и, возможно, что у нас с вами будет деловой разговор.

Иерусалимским отделением банка заведывал Иона Апис. Он прочел устав, пожал плечами.

— Ваше дело,— сказал он равнодушно.— Мне кажется все же, что вы — очень достойные люди, и я вам охотно помогу. В пятницу я сам сообщу о вашей просьбе на заседании правления.

«О какой просьбе?» — подумал Шухман.

— Вы хотите,— продолжал Апис,— получить, во-первых, безвозвратную ссуду, во-вторых, долгосрочный кредит? Я похлопочу. Приходите после пятницы.

Ничего этого Шухман не просил, но ушел от Аписа, не сказав ни слова возражения. Договор, заключенный в доме наборщика, сразу, после первого посещения банка, показался ему чем-то несолидным, блажным. Никакой помощи! Почему? Красивые слова, но они лишены смысла. Пустой звон...

— А, вы пришли...

Апис пригласил Шухмана к себе в кабинет. Генерал Алленби и Хаим Вейцман — на стене. Альбом с видами Тель-Авива — на столе. На полу — турецкий ковер. Разговаривая с Шухманом, Апис брал в руки большую раковину. Он прикладывал ее к правому уху, слушал. Раковина глухо шумела.

— Вам повезло,— сказал Апис.— Банку на днях предложили небольшой участок вблизи селения Медре. Там есть две-три постройки, большое пшеничное поле, сад, виноградники.

— У кого банк покупает участок? — спросил Шухман.

— У Мустафы-эль-Хуссейна, — ответил Апис. — Этот родовитый, но не очень богатый эффенди расшвырял все свои капиталы, после того как стал офицером британской армии. Он распродает свое имение по частям. Мы уже поселили на его участках двести халудим. В пятницу я еду в Тель-Авив. Приходите после пятницы. Надеюсь, что мне удастся закончить в Тель-Авиве ваше дело.

— Успешно? — спрашивал Висмонт.

— Очень хорошо, — отвечал Шухман.

Был вечер, когда вся колония собралась за столом в доме наборщика.

— Все готово, — сообщил Шухман. — Разумеется, в одном маленьком пункте нам пришлось отступить от нашего договора.

— В каком? — спросил Висмонт.

— Но ты сам согласишься с неизбежностью такого поступка, Ровоам.

— В каком пункте, Илья?

— Банк, — сказал Шухман, — дает нам ссуду в пятьсот фунтов.

Илья боялся скучных возражений со стороны Висмонта, но тот спокойно выслушал его и сказал:

— Надо как можно скорей ее выплатить.

— Конечно! — воскликнул обрадованный Шухман. — Конечно!

Герш Гублер предложил:

— Давайте, друзья, споем песню. Мы будем пахать землю своей родины. Споем же наш гимн.

Все запели.

— «...Еще не потеряли мы надежды...» — пел Герш Гублер из Литина.

— «...Еще не потеряли мы надежды...» — пел юноша из Бухареста.

Все пели гимн: юноши из Минска, Пинска, Двинска, Лодзи, Варшавы, из Ясс, Браилова и Жмеринки, Конотона, Балты, Голты...

Все пели на разные голоса: один — полужакрыв гла-

за, другой — закинув голову, третий — стоя, а четвертый вдруг разгонял мелодию, как колесо, все быстрее и быстрее, и приплясывал ей в такт. Все пели гимн:

Еще не потеряли мы надежду
Вернуться в обетованную землю...

— Ура! Мы в обетованной земле! — воскликнул Герш Гублер из Литина.

Он поцеловал Гордона в губы.

— Ура! — закричал Гордон. — Мы в обетованной земле. Ура!

— Ура! Ура! — кричали юноши из Минска, Пинска и Шанхая.

Они сбросили с себя свои войлочные шляпы, отодвинули столы и пошли плясать.

— Танцуй с нами, Ровоам.

Висмонт выстроил всех в кружок. Они сцепились в хоровод и положили друг другу руки на плечи. Они танцевали пастушеский танец.

Когда снова сели за стол, дочь наборщика пожаловалась: у нее с утра болит голова. Висмонт предложил: он сбегает в аптеку за пирамидоном.

— Возьми мой плащ, — сказал Шухман: — смотри, ты простудишься.

— Друзья! — воскликнул он. — Очень хорошо, что Висмонт ушел. Мы получаем участок на общих основаниях. Что касается нас, то мы с удовольствием возьмем помощь, которую предлагает нам наш народ. Напрасно Висмонт думает, что это деньги Ротшильда: это — деньги бедняков, наших братьев... Но я устал спорить с Ровоамом. Если бы он не был палестинским уроженцем и сыном сторожа пустыни!

Шухман умолк. Он чувствовал себя неловко: слова о деньгах бедняков были ложью. Пустяки! О чем говорить? Нашли время разделять народ на классы! Есть люди, чьи поступки всегда некстати. Таким человеком некстати, человеком не попад был, по мнению Шухмана, Ровоам Висмонт.

Гордон спросил:

— А что, если бы он не был сыном сторожа пустыни?

— Очень просто,— ответил Шухман,— я бы поставил вопрос о том, чтобы не принимать его в квучу. Вернулся из аптеки Висмонт.

— Чуть не произошел скандал за прилавком. Я сказал этой немке из миссии: «Дайте мне пирамидон». А около прилавка стоял молодой араб. Он толкнул меня локтем. «Господин еврей,— закричал он,— почему вы пролезли вперед меня? Неужели вы думаете, что Аравия в самом деле стала вашей?»

«Господин араб,— ответил я ему,— успокойтесь. Мне казалось, что вы разглядываете товары. Если бы я знал, что вы хотите обратиться к продавщице, я бы, конечно, пропустил вас вперед. Если же вам хочется драться, я готов. Выйдем на улицу».

Все заинтересовались, раскрыли любопытные глаза.

— Ну,— спросили за столом,— что же, араб?

Висмонт ответил:

— Он смутился и отошел в сторону, но продолжал тихо ворчать.

— Ты слишком церемонишься с ними,— сказал Шухман,— все равно ты их не умаслишь. Они навсегда останутся нашими врагами. Причина этой ненависти одна — религия. Твоя любовь к ним останется без взаимности.

— Но феллах Сулейман из Медре был другом моего отца,— возразил Висмонт.

Шухман вздохнул.

— Если бы ты был, как твой отец, Ровоам! Твой отец — один из основателей сионизма и сторожей пустыни. Ты не думаешь иногда о том, что оскорбляешь его память?

— Дети не всегда наследуют взгляды отцов,— сказал Висмонт.— Мой отец был врачом, он забросил свой кабинет в России и приехал сюда возделывать землю. Феллах Сулейман работал батраком у одного эффенди вблизи Рош-Пино. Он заболел от дурной пищи экземой. Когда отец проходил мимо феллаха Сулеймана, тот кричал ему в спину: «Еврей-собака,

еврей-собака!» Но Висмонт пришел к нему в его хлев и стал лечить его от экземы. Он мазал его мазями и обклеивал больное тело пластырями. Он вылечил его от болезни, и Сулейман стал его лучшим другом.

— Друзья,— предложил. Герш Гублер,— давайте споем «Эспед» Жаботинского.

Все запели грустную песню.

— «... И был он горд, и мощен, и высок...» — пел Гублер.

— «... И глас его гремел, как звон металла...» — пел юноша из Бухареста.

Все пели «Эспед»: юноши из Минска и Лодзи, из Гонконга и Ясс, из Браилова и Жмеринки.

Они пели на разные голоса.

Какая долгая, какая темная дальневосточная ночь! Я давно так внимательно не вглядывался в небо. Признаться, я уже много лет не видел Млечного пути и Большой Медведицы. С годами мы забываем о небе. Почему в детстве так часто случались радуги и однажды мимо меня пробежала по двору молния, а сейчас я не вижу ни радуги, ни звездного неба? Ходишь по земле с опущенной головой, забыв о небе. Мне в детстве говорили: «Нельзя долго смотреть на луну: ты заболеешь лунной болезнью, ты станешь луннатином». Это взрослые пригибали к земле наши головы. Вот я впился глазами в небосклон и чувствую, что возобновляю давно потерянное знакомство.

— Что ж,— говорит мистер Броун,— посмотрю и я на звезды. Это — прекрасное лекарство. Если б я был врачом, я бы прописывал больным смотреть на солнце каждый день по два часа.

— А если на небе тучи?

— Пусть смотрят на движение облаков, как гонит их ветер, как он то разрывает их, то склеивает, то громоздит одно на другое, как сквозь них пытается прорваться луна...

В это время яркая звезда пронеслась мимо нас. Она перечертила полнеба и упала куда-то мимо земли.

Это событие потребовало несколько секунд приятно-го молчания. Затем я продолжал свой рассказ.

В ту пору я получал письма от Гордона все реже и реже. Но когда он поселился на земле и стал колонистом, из Палестины пришел большой пакет. Александр был доволен, весел. Он прислал мне множество снимков. На одном он был изображен за плугом. Весна в Иудее. Он распахивал участок квуцы Явне. Английские башмаки, белые штаны, куртка из овечьей шерсти и войлочная шляпа. Молодая длинноволосая лошадка была запряжена в плуг. Гордон скалил зубы, хвастался загорелым лицом. На другом снимке он мчался верхом в горы. Видимо, они строили дорогу. Двадцать человек стояли, опершись на лопаты. За ними было поле, виноградники, сад, речка, горы. Я разглядел груды белых камней. Вечерний отдых. На снимке — широкий одноэтажный дом. Он крыт черепицей. Двери раскрыты. Колонисты сцепились в хоровод, плясали. Внутренний вид дома. Убранство комнаты Гордона огорчило меня своей нищетой. Голые стены, тапчан, половик, стол без скатерти и только в углу какая-то скульптура, накрытая рогожей. На стене висело охотничье ружье.

«Мы работаем, учимся, поем песни, танцуем» — так писал Гордон.

Это была радость напоказ. Я чувствовал, что его письмо рассчитано на то, чтобы его читали многие, то есть, кто еще сомневается и, может быть, о них сожалеет.

— Но затем письма надолго прекратились? — спросил мистер Броун.

— Еще бы! — сказал он, не дождавшись ответа, — эти юноши не понимают, что месяц можно работать с утра до ночи и жить, как попало, и все же жизнь покажется полной счастливого смысла. Но когда становится ясно, что жизнь будет такой всегда, серой и беспросветной, когда один заболел малярией, а другой затоскует о брошенной службе, где не ломило спину и была возможность каждый день чисто одеваться, и читать много книг, и ходить в театры, и спорить о прошлом, о настоящем, о будущем, — об Ахад-Гааме и

Шпенглере, о Руппине и Руттенберге, о Трумпельдоре и Жаботинском, о Хаиме Вейцмане и Бялике, о Ницше, Чехове и Леониде Андрееве; когда ясно, что дальше будет не лучше, а хуже, и надо еще бороться за то, чтобы сохранить вот это жалкое положение... тогда на душе совсем иное настроение. А тут еще проклятая непривычка к труду, когда работа, обычная для крестьянина, ложится на плечи горожанину, как каторга... Я часто встречал их в Палестине — гордых юношей с покалеченной жизнью. Некоторые тупеют и забывают понемногу о великой идее, ради которой они приехали сюда, о докторе Герцле и Фридрихе Ницше, и Иегуде бен Галеви, и Леониде Андрееве, грубеет душа, засыпает разум... и назад уж не вернешься. Совсем не такой представлялась им жизнь земледельца на старинной библейской родине. Может быть, я видел среди них и вашего друга? Медре? Надо будет взглянуть на карту; я что-то не помню такого названия... Медре? Явне? Нет, не помню.

— Год молчания, — сказал я, — год и три месяца. Но затем я получил от него письмо с сообщением о небольших событиях в квуче. Он совершил прогулку по горам Иудеи, он давно мечтал ее совершить. Он говорил: я прошел путем Христа — из Галилеи в Иерусалим. Среди описания путешествия были кое-какие намеки, дававшие понять о его настроениях. Я не мог представить себе, какую жизнь они вели у себя в квуче, но чувство единодушия, видимо, покинуло их. Он поругивал Висмонта и тут же хвалил... вообще, происхождение делало Ровоама неуязвимым. Ему разрешалось то, чего не позволяли бы никому.

Кончалось лето. Колонисты собирали свой урожай. Отяжелели ртутные краски маслин. В последние недели ветер ни разу не пошевелил их склоненных ветвей. С гор сыпалось серое крошево. Наступила пора снимать виноградные гроздья, жать пшеницу.

Гордон и Висмонт были заняты на пшеничном поле. Они возвращались домой за час до наступления темноты. В общем доме было темно, некому было поехать за керосином. Гублер из Литина был поваром.

Он готовил на ужин пшеничные лепешки и кислое молоко. В уставе квуцы был пункт о запрещении женитьбы.

— Когда станем на ноги... Еще рано.

Гублер из Литина согласился исполнять женскую работу. Он мыл полы, стирал, стряпал. Измученные работой, колонисты засыпали, еле войдя в дом. Два человека держали ночной караул. Это были новые сторожа пустыни. Гублер назначал дежурства. Караульщики надевали плащи, уходили на край села, прижимали к груди винтовку, вслушивались в темноту.

Когда убрали урожай, Гордон убедил Висмонта отправиться с ним по горам в Иерусалим. Они надели на себя туристские рюкзаки, запаслись консервами и хлебом и, выйдя на речку Курию, начали оттуда свой сорокакилометровый поход.

Иудейские горы сухи, бесплодны. На них нет ни дубов, ни пальм, ни кедров. Они не знали кедров даже тогда, когда хребты Ливана и Антиливана были зелены до самых своих вершин и богаты кедрами. На облысевших вершинах Ливана сейчас осталось шестьдесят кедров. Пять из них — могучие и древние. Они все занумерованы, исцарапаны и замараны надписями на многих языках. На иудейских горах не расписывались даже англичане-туристы.

Колонисты не встречали на своем пути никого, кроме пастухов-арабов. Они спустились в ущелье. Там бродили овцы. Они пили воду из дождевых впадин. Пастух узнал в них евреев и отвернулся. Он согнал с их пути овец, словно ноги колонистов оставляли на тропинках проказу.

— Добрый вечер! — крикнул Висмонт.

Он знал арабский язык.

Пастух удивленно поднял голову. Он разглядывал путников.

— Хорошей дороги! — воскликнул он.

Он долго смотрел им вслед.

К вечеру они подошли к арабской деревне Медре. Гордон не хотел туда заходить, но Висмонт убедил его. Он затолкал его туда силой. Он уговаривал его:

— Не бойся арабов. Я буду говорить с ними на их языке.

Гордон оправдывался.

— Я не боюсь. Но что скажут наши колонисты? Они не позволят мне больше с тобой дружить. Они выгонят тебя из колонии.

— Пусть выгоняют!— успокаивал его Висмонт.— Мы поедем тогда с тобой в Тель-Авив. Говорят, господин Апис собирается там открыть новый металлургический завод.

— Металлургический!— воскликнул Гордон.

Застигнутый неожиданностью, он иногда терял ощущение иронии.

— Да,— ответил Висмонт,— с производительностью до пятисот бутылок сельтерской воды в день.

Смеясь, они вошли в Медре. Был вечер, но у первого дома возился еще в своем саду араб. Он мотыжил землю вокруг нескольких пальм. Они опустили свои мохнатые ветви на его низкорослый дом. Висмонт с ним заговорил.

— Араб предлагает нам ночлег,— сообщил Ровоам.— Он знает, что мы — евреи.

— Ты ему сказал, что ты мапс? — спросил Гордон.

Висмонт улыбнулся.

— Неужели ты думаешь, что он пустил бы к себе сионистов? И когда! Сейчас, когда приближается день их траура.

Они ели лепешки из муки нового урожая. Потом они легли спать на земляном полу. Хозяин дома постелил им два коврика. Он пожелал им спокойной ночи.

— Благодарю тебя, Сулейман,— сказал Висмонт.

Когда араб ушел, Ровоам сказал:

— Разве ты не понял, что я его знаю давно? Это — Сулейман, друг моего отца.

Они бодрствовали, лежа, два часа. Засыпая, Ровоам рассказывал Гордону о феллахэ Сулеймане и его сыне. Засыпая, Гордон вспомнил Россию, свой родной город и клуб макаббистов.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В эту ночь Ровоам Висмонт рассказал Гордону историю Мусы, сына Сулеймана.

— И Фейсал и Хаим Вейцман,— говорил Висмонт,— одинаково обмануты Англией. Сын шерифа Мекки стал кукольным королем арабов, а Вейцман — чем-то вроде еврейского министра. В то время, когда ты ходил в маккавейский клуб и у вас в России, как и всюду, молодежь убеждали вступить в еврейские легионы, в то время, когда нам была обещана независимая Палестина, в Мекку приехал Лоуренс. Он ничего не сказал о евреях ни Хуссейну, ни его сыну Фейсалу. Он зажег весь народ мечтой о великой Аравии со столицей в Дамаске.

Шофер Муса стал солдатом. Он сменил мотор на седло. Эффенди Мустафа-эль-Хуссейн, у которого отец Мусы всю жизнь арендовал землю, получил чин офицера британской армии. Муса записался в отряд. Сейчас Мустафа-эль-Хуссейн жалуется, что его обманул Фейсал. Фейсал говорит, что верил представителю Великобритании. Он клялся ему на арабском языке. У него есть договор с Англией.

— А Лоуренс,— сказал Висмонт,— жалуется, что его обманул Лондон и кабинет министров. Он даже отказался от своей фамилии. Но Сулейману и его сыну, Мусе, трудно жаловаться на Англию, и они во всем обвиняют нас, евреев... Как будто бы за Иорданом их дела обстоят лучше! Можно подумать, что там они приобрели какую-то независимость.

— Неужели нельзя объединить интересы обоих народов?— спросил Гордон.

— Так думал мой отец,— ответил Висмонт.— Но в чем заинтересованы мы с тобой и многие из арабов, в том вряд ли заинтересована Англия. Мы очень надеялись на Герберта Самюэля, но верховного комиссара убрали, и его сменил солдафон. Губернатор Сторрс ходит по Иерусалиму как завоеватель. Напрасно наши сионистские вожди стараются заслужить его доверие своей преданностью Англии: он третирует их как провинциалов.

...В отряде Мустафы-эль-Хуссейна было двести всадников. Все они раньше работали в его имении. Отряд шел в Дамаск. Евреи верят, что их вел по пустыне огненный столб. Он шел впереди, указывая путь из Африки в Азию, из страны рабства в страну свободы. В 1917 году по этому пути шли арабы, и огненным столбом для них было обещание Англии.

За многими водоразделами, на реке Барада, у подножья Антиливана, залег, омываемый зеленью, круглоголовый город Димишк-Эш-Шам, или Дамаск, как его называют европейцы. Там арабы должны были получить награду: за мечты, гнавшие их по пустыне, за лихорадку, за кровь, окрасившую следы их ног. Представитель Англии, одетый в белый бурнус, полковник Лоуренс, ехал с ними. Он хвастался своими ожогами и язвами. Арабы шли в Дамаск, в столицу Арабистана.

Турки уходили в Турцию. Отряды Ауды купали своих лошадей в море. В сентябрьский вечер войска Фейсала вошли в Дамаск. Это была ночь ликования арабского народа. Утро принесло горе и кровь. Великая Аравия, со столицей в Дамаске, прожила одну ночь. Затем Версаль раздал мандаты, и полковник Лоуренс переименовал свою фамилию. С той поры евреи живут в Палестине, как на вулкане. Мы для них — английские ставленники...

Это был неприятный для Гордона рассказ. Он мне писал, что в эту ночь он впервые испытывал чувство тоски по своей украинской родине. Он сказал Висмонту:

— Но мы не отвечаем за Англию. Мы живем здесь по праву. Если надо, чтобы вторая юность нашей родины орошалась кровью, пусть...

Утром они выпили ячменного кофе и закусили поджаренными на оливковом масле лепешками.

— Где твой сын, Сулейман? — спросил Висмонт.

— В Кайфе, — ответил араб.

— Вот город, откуда мы должны ждать неприятностей, — сказал Гордону Висмонт: — там собралось множество арабских националистов. Они не простят евреям декларацию Бальфура. У вас в России ждали

погрома каждую весну. Союз Михаила-архангела готовил к Пасхе ритуальное убийство. Здесь мы должны ждать погрома каждую осень. Декларация Бальфура легла между двумя обманутыми народами.

— Прощай, Сулейман.

Они двинулись в горы.

— В Иерусалиме тревожно,— сообщали им еврейские земледельцы, которых они встречали в пути.

Гордон скрывал от Висмонта, что в Иерусалиме он хочет встретиться с Анной Бензен. Она, вероятно, уже вышла замуж за тридцать фунтов. Она с презрением выслушает его рассказ о квуце, о темном доме, поваре Гублере и ночных караулах.

Они вошли в город с запада, чтобы сразу очутиться в его еврейской части. Из Иосафатовой долины возвращалась длинная похоронная процессия. Шли старики, стуча палками. Плакали старушки, укрытые шелковыми шальями. Старушек везли извозчики. Шелковые шали были вышиты золотом.

— Бедняки!— сказал Висмонт, показывая на вдетое в шелк золото,— они привезли с собой эти хасидские ткани из Польши. Они получили эти ткани в наследство; в них шли под балдахин их матери и бабушки. Я знаю это из расспросов. Я интересовался Польшей, потому что я там никогда не был.

Они взбирались вверх по переулку. Переулок открыл им свои выжженные дворы, грязные домишки, гниющие мусорные кучи. В воздухе пахло острой гнилью. У ворот одного дома сидел на камне желтый старик. Он продавал нюхательный табак. Иногда он вставал и что-то кричал. На дворе сидел сапожник. Он тачал обувь и ругался. Сапожник был старый, такой же старый и желтый, как и продавец нюхательного табака.

— Неужели,— спросил Гордон,— они еще и сейчас продолжают приезжать сюда для того, чтобы здесь умереть?

— Продолжают,— ответил Висмонт.— Правда, из игры вышел главный поставщик этих дряхлых стариков — Россия.

Они совсем не встречали молодых в переулке. Иерусалимских стариков с их подажниками, синагогами и плачем здесь ненавидели все: и мапсы и сионисты. Жить в Иерусалиме было позорно для молодого человека. Молодежь говорила: «Мы для того и выстроили свой город, чтобы не жить в этом кугельном клоповнике».

Иерусалимские водохранилища были пусты. Зной насухо вылизал водоемы. Над их кругами кружилась белая пыль. С красными книжками в руках бродили по улицам одетые, как альпинисты, иностранцы. Их одежды были тяжелы. Иные из них шли по следам Христа. Они разглядывали неуклюжие русские церкви и греческие часовни, полагая, что дорога приведет их к несуществующей горе Голгофе. Дорога вела к огромному и холодному греческому собору, где лежал безобразный камень, именуемый господним гробом. Площадь собора была пустынна. Из мировой игры выбыл поставщик богомольцев — Россия.

Гордон проводил Висмонта до дома наборщика.

— Скажи им, что я приду позже, — сказал он.

Через двадцать минут он вошел в вестибюль итальянской гостиницы. Анна Бензен была у себя. Мать принимала ванну.

— Александр! — сказала она, — я очень рада. Садитесь. Хотите кофе?

— Вы вышли замуж, Анна? — спросил Гордон.

— Садитесь, — отвечала она со смехом, — и пейте кофе. Потом узнаете.

Он пил кофе.

— Нет, — произнесла Бензен, — я еще не вышла замуж. За меня сватаются бедные чиновники. А вы похорошели, Александр! К вам очень идет мужицкая жизнь. Но на улице я бы сейчас с вами не рискнула показаться.

Она взяла его руки, положила к себе на колени. Затем она сняла с него шляпу, причесала волосы. Они никогда так близко не прикасались друг к другу. Его руки гладили ее колени, бедра. Это был новый фазис в их затяжной любовной игре. Он воровато ласкал

ее, позволяя себе все больше и больше, и его удивило, как мало сопротивления встречает он на своем пути.

— Если бы стали моей женой...— шептал он.

— Нет,— отвечала она,— хватит вам того, что есть. Он целовал ее в губы.

— Какой вы, однако!..— воскликнула она.

Он был доволен собой в этот вечер, но ему не нравилось ее поведение. Неопытный в делах любви, юноша часто распознает ложь там, где ее не скоро почувствует поживший мужчина. Прижимаясь к нему, она болтала:

— Завтра бал у губернатора Сторрса. Я никогда еще не была в Вильгельмовском дворце. Там, говорят, царская роскошь. Будут чиновники всех миссий, английские офицеры. Александр, мама получила для меня приглашение...

— Поздравляю, Анна.

Его гордость рассмешила ее. Она хлопнула себя по щеке его рукой.

— Отчего все мужчины так нетерпимы?— болтала она.— Неужели вам мало этого счастья? Глупый народ, мужчины. Мало вам? Мало?

Гордон молчал. Он прижался головой к ее груди и закрыл глаза, как будто эта женщина была его матерью. Ее длинная шея пахла айвой.

— Анна,— шептал он,— моя первая любовь...

Она смеялась.

— Неужели? Это правда? Я очень рада. Говорите же! Отчего вы молчите? Говорите мне слова любви. Разве я недостойна? Откройте глаза. Смотрите на меня, Александр, дорогой.

— Анна...— шептал он,— Анна...— и умолкал.

Он заметил ее грустный взгляд. Она опустила голову, вздохнула.

— Вы вздыхаете,— сказал он.— У вас грустные глаза.

— Александр,— пожаловалась она,— у меня горе.

— Какое, Анна? Расскажите.

— Мне так хочется быть на балу,— болтала она,—

я так редко бываю в обществе, мне так хочется танцевать...

— Но вас же пригласили?

— Если б вы знали,— ответила она,— сколько усилий стоило маме достать для меня пригласительный билет! И все напрасно: я не смогу пойти.

— Почему?

— Мне не в чем показаться. Мое платье у портнихи. Она не выдаст его мне, пока я не верну ей долг.

Анна замолчала. Гордон понял: надо задать вопрос.

— Много?— спросил он.

— Пустяки,— ответила она,— всего семь фунтов. Отчего я родилась такой бедной? Уж лучше б не родиться!

— Семь фунтов!— повторил Гордон.

Он заметил: ее глаза смотрели на него с надеждой. Ему вдруг стало холодно на ее груди. Захотелось встать, что-то вскрикнуть, покинуть дом.

— Я к вам приду в деревню,— сказала она,— можно? Вы будете поить меня кислым молоком, водить по горам. Ваши друзья позволят ведь? Правда? Вы опять молчите, Гордон...

Ему было холодно с ней и пусто. Он прислушивался: не идет ли из ванной комнаты мать. Как он раньше не хотел ее прихода и как жаждал его теперь! Его огорчали ласки Анны, но он не нашел в себе силы отвергнуть их.

— Ваши миниатюры — замечательные,— говорила она.— Все в восторге. Про вас много спрашивали. Я очень ценю ваш подарок, Александр. Если б вы знали, как женщине приятно получать подарки от мужчин! Если б вы знали... вы тогда не были б таким неуклюжим.

— Но у меня нет денег,— сказал Гордон.

— Семь фунтов — такие пустяки,— произнесла она.— Если б вы только захотели, вы б их легко могли достать. Боже мой, это ужасно, что я должна с вами так разговаривать.

«Неблагодарный,— читал он в ее глазах,— обманщик».

К счастью, вернулась из ванной комнаты мать. Она тоже заговорила о миниатюрах. Он сам не знает своей силы. В этой дурацкой деревне он погубит талант. Почему Анна не угощает его кофе?

— Благодарю вас, я пил,— ответил Гордон.

Он прошелся по комнате, спросил, который час, ужаснулся, что поздно и, избегая встретиться с глазами матери и дочери, распрощался.

Он бежал по темной улице пока не завернул за угол. Когда же потерял из виду двухэтажное здание итальянской гостиницы, остановился и дал себе священную клятву никогда не бывать больше у Анны Бен-зен.

В доме наборщика говорили о последних новостях. Инженер Руттенберг представил Лондону проект электрификации Палестины. Лондон отказал. Хаим Бялик ездит по стране и собирает материалы для истории Палестины. В Яффу прибыло сто эмигрантов из Румынии. Им запретили въезд в страну. Пароход ушел обратно. В Иерусалиме тревожно. Арабы вывешивают черные флаги. К генералу Сторрсу ходила делегация. Адъютант сказал: «Генерал занят». Делегаты ждали три часа и ушли, не повидавшись с генералом. В юго-восточной части города — паника. Люди говорят: «Завтра лучше уехать». Другие советуют не выходить из дому. На Яффской улице, посередине, стояли два еврея и громко разговаривали. Араб, хозяин фруктового магазина, крикнул им из окна:

— Говорите побольше. Завтра вам уже не придется разговаривать.

Всюду звучат угрозы. Старики из богаделен хотят объявить пост. Сегодня во всех синагогах раскрыты двери ковчега завета. Говорят, Руттенберг вчера тайно роздал многим оружие для самообороны.

— Горе нам!— плакали старики у Стены Плача.

Вспомнил сухой день 4 июля 1920 года. В полдень арабы ворвались в еврейский квартал. Молодежь вышла им навстречу. На улицах засверкали ножи, разда-

лись револьверные выстрелы. В тот день было убито пять евреев и четыре араба. Английская администрация молчала, будто не замечая событий. По улицам возили раненых. Бой продолжался два дня. Арабы говорили открыто: «Они не смеют вмешаться. Слишком свежа рана шерифа Мекки Хуссейна и его сына Фейсала».

Англичане молчали два дня. Погром окончился. На третий день генерал Сторрс объявил осадное положение. Заседал военно-полевой суд. Он приговорил ко многим годам тюрьмы девятнадцать евреев и двух арабов. Командир маккавейских батальонов Владимир Жаботинский был осужден на пятнадцать лет.

— Я никогда не видел,— рассказывал он потом,— чтобы администрация вела себя с такой рафинированной грубостью и низостью, как это проявила английская администрация в Палестине. Русская администрация также устраивала погромы, но она была открыто антисемитична. Здесь же администрация всегда проявляла утонченную вежливость и убаюкивала нас сладкими речами. Мы имели право поэтому ожидать от них исполнения всех надежд... И вот эта самая администрация устроила погром...

Дочь наборщика сказала:

— Сейчас это не повторится. После того скандала...

— А делегация, которую не принял губернатор?— спросил Висмонт.

Они решили лечь спать в одежде. Каждый шорох вызывал тревогу. Отец Лии был бледен: его трясла малярия, он бредил.

Ночью ничего не случилось и неожиданно-спокойно прошел и весь следующий день.

— Не ходите,— удерживала их Лия.

Но Висмонт и Гордон все же пошли в юго-восточные кварталы. Арабские магазины были закрыты. Они видели злые лица и черные флаги. В синагогах люди молились у раскрытых дверей — ковчегов завета. Старики постились и нюхали нашатырный спирт. День прошел спокойно, без убийств.

— Завтра мы отправимся домой,— сказал Гордон.

Он спешил вон из Иерусалима. Он гнал от себя сны, в которых ему являлась Анна Бензен. Лия все еще надеялась, просила его читать ей стихи Саула Черниковского. Это были стихи об Астарте, о Венере, о любви. Он плохо знал древне-еврейский язык, и она объясняла ему на жаргоне значение многих слов.

— Вы все еще любите ее?—спросила она посреди чтения стихов.

Гордон не ответил.

— Значит, любите. Верьте мне: вы с ней будете несчастны.

— Почему?

— Чужая кровь,— сказала Лия.— Не может быть счастья между людьми чуждых рас.

Гордон читал Черниковского.

...Обратный путь колонисты совершили в три дня. Ночи они проводили в горах. Постелями им служили зеленые английские пледы. Холодели камни гор. Из Галилейской пустыни шла тишина. Когда они добрались до речки Курии, то выкупали в ней свои усталые ноги. Колония была в пяти километрах. Она лежала внизу. Вечер вводил в незримый мир белые краски ее домов.

Их взгляды лежали на линии горизонта. Там, где кончается мир, начиналась колония. Когда они прошли еще два километра, они увидели внезапно огонь.

— Ровоам,— вскричал Гордон,— это — не закат!

— Да, это — не закат.

Это горела колония Явне. Горел пшеничный урожай, раскиданный по вечернему полю, горели пальмы в бывшем саду шейха, горела контора, украшенная щитом Давида. Щит был изваян Гордоном.

Когда они входили в колонию, Висмонт сказал:

— Годовщина бальфуровской декларации.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Колонистам удалось потушить пожар. Уцелели коношники, уцелела половина дома. Они спасли также больше половины урожая. Илья Шухман добился —

через Йону Аписа — новой ссуды в банке. Наступила зима, и в эту спокойную пору колонисты заново отстроили свой дом. В зимний вечер в Явне приехал Бялик. Он разговаривал до полуночи с колонистами и обещал им, что в его истории Палестины будет рассказано об их героической борьбе за свою родину. Его радостно встретили и восторженно проводили.

— Да здравствует наш гений! — кричали ему вдогонку.

Они читали всю ночь его стихи. Шухман декламировал:

... Небеса, если в вас, в глубине синевы,
Еще жив старый бог на престоле,
И лишь мне он незрим, то взмолитесь хоть вы
О моей окровавленной доле.
У меня больше нет ни надежд впереди,
Ни в руках моих сил, ни молитвы в груди.
О доколе, доколе, доколе?..

— Хаим Бялик, — сказал Гордон, — это гений, признанный всей Европой. Я читал статью Леонида Андреева, в которой он писал: «Наши великие писатели Достоевский и Бялик...»

Поэзия Бялика объединила в этот день всех. Его любили юноши из Шанхая и Бухареста, из России и Польши, его любил и Ровоам Висмонт. В этот день пили вино, целовались, пели, танцевали. Скоро начнется оседлая домашняя жизнь. Через год они приведут сюда своих невест и выпишут сюда отцов и матерей. Гордон был сирота. В России у него никого не было, кроме меня, его единственного друга.

Шла зима, полная новых надежд. Гордон часто караулил в поле. В конце зимы произошло одно событие, которое заставило его покинуть колонию. Как-то Гублер назначил его на дежурство.

...Александр Гордон — сторож пустыни.

Он закутался в английский плащ. Посвистывая, он сжимал свои широкие плечи. Он сидел на известковой глыбе, ощупывая холодный ствол английской винтовки. Его колени сжимали ее ложе. Приклад был в ночной росе. Иногда налетал ветер с моря. Александр

подставил ему свою спину. Он ничего не видел впереди, но знал: впереди темная степь, темные горы. Скоро наступит время первых ручьев. С гор побегут потоки. Это будет, когда прилетит улетевшая за Синай птица. Висмонт привезет из Тивериады два плуга. За одним будут ходить Висмонт с Шухманом, за другим — Гордон с Каложным. За мостом стоят бывшие конюшни эфенди; они почти пусты — четыре лошади вместо двадцати. В квуде есть еще одна лошадь. На пятой лошади Висмонт уехал в Тивериаду. Одна из пяти стала верховой лошадью Гордона. Это была черная кобыла. Он дал ей название «Дочь Иевфая». Шухман возражал, но название осталось.

Небо без луны, много звезд. Гордон не видел среди них новых. Все эти ковши и туманности он знал хорошо: он был с ними знаком по Елисаветграду и Одессе. Так же, как и в Елисаветграде, беспокойно мерцала Венера. Один раз маленький Гордон загляделся на Венеру и упал в канаву.

Гордон взялся за винтовку. Он поставил ее на колесо, открыл затвор. Вся обойма лежала в магазинной коробке.

— Э,— сказал Гордон,— на всякий случай,— и загнал пятый патрон в ствол. Округлив большой палец, он натянул предохранитель.

Возможный враг был недалеко. В пятнадцати километрах от Явне лежала вырубленная в горах арабская деревня Медре. Ни один из колонистов не решался через нее проходить. Один Висмонт гулял по ней свободно. Он знал их язык и со многими был связан по школе.

Гордон вспомнил, как ночевал осенью в селении Медре. Араб оказал ему гостеприимство. Он запомнил лицо феллаха Сулеймана. Месяц спустя ему пришлось снова оказаться в этих местах. Он прошел мимо Медре. Когда он поднимался из ущелья, кто-то бросил в него камень. Он оглянулся и увидел много злых лиц. Он увидел среди них и полное вражды лицо Сулеймана.

«Неужели он?»

Камень лежал у его ног. Гордон поднял его с земли, взвесил. Если б бросавший попал в цель, камень раскроил бы ему череп.

...Загоняя в ствол пятый патрон, Гордон думал о феллахе Сулеймане. За первым предупреждением идет всегда второе и третье. Вторым предупреждением мог стать кривой арабский серп. Кривой серп, подрезающий колосья, мог найти себе место в груди Гордона. Второе предупреждение — не отправит ли оно его в Иосафатову долину? В узкой долине появится еще один могильный камень. На косом могильном камне будут высечены стихи:

...И был он горд, и мощен, и высок,
И зов его гремел, как звон металла.
И прогремел: во что бы то ни стало!
И нас повел вперед и на восток.
И дивно пел о жизни, полной света,
В ином краю, свободном и своем.
Но днем конца был день его расцвета.
И грянул гром, и песня недопета,
Но за него мы песню допоем.
Пусть мы сгнием под муками ярма,
И вихрь умчит клочки священной торы,
Пусть сыновья уйдут в ночные горы,
И дочери — в позорные дома,
И в мерзости наставниками людям
Да станем мы в тот грозный день и час,
Когда тебя и песнь твою забудем
И посрамим погибшего за нас...

В отроческие годы Гордону очень нравились эти стихи. Их написал Владимир Жаботинский. Речь Жаботинского была обращена к могиле Теодора Герцля. Гордон не мог слушать этих стихов без спазм восторга. Священная тора! Неужели Жаботинский думает, что религия может помочь становлению еврейского государства? Никогда Гордон не смешивал поэзию библии с ее догматикой. Бог был здесь не нужен: он мешал. Бога притащили с собой сюда иерусалимские старики. Бога привезли с собой те, кто приехал умирать, а не восстанавливать. В библии Гордон любил воинов.

Маленький Гордон подслушал в детстве разговор.

В ленивый зимний вечер, когда медленные снежные хлопья падали на землю, в доме Гордона собралась вся семья. Обширная еврейская семья: дядя из Кривого Озера, дядя из Помощной, тетя из Литина, тетя из Калиновки, шурины из Белой Церкви, шурины из Каменец-Подольска. И каждый из них был вроде какого-нибудь вождя индейского племени. За дядей из Кривого Озера шла вся родня из Кривого Озера, за дядей из Помощной шла вся родня из Помощной и за тетей из Литина — вся родня из Литина. Были даже совсем дальние родственники, такие, о которых принято говорить, что они либо нахлебники, либо неудачники.

Семья пила крепкий, красный чай. Взрослые ели гусиное сало. Сало привез шурины из Каменец-Подольска. По случаю большого семейного праздника взрослые ели сало. И по случаю праздника дети ели маковки. Маковки привезла тетя из Калиновки. Детей загнали в другую комнату. Они играли в интересную игру. Интересная игра называлась «Траур по усопшим». Дети сняли ботинки и сели в угол, подвернув под себя ноги. Тот, кто первый улыбнулся, исключался из игры. Детям было очень весело. Но и веселье надоедает, и маленький Гордон встал и подошел к двери, чтобы подслушать разговор взрослых. Он был в одних чулках, и взрослые не услышали его шагов.

Семейный вечер был посвящен воспоминаниям.

— Мы все-таки собрались вместе, — говорил дядя из Кривого Озера, — мы существуем, мы не убиты, мы не искалечены. Посмотрите на меня: разве у меня поломанные руки и ноги? разве у меня перебитые кости или — не дай бог — пустые глаза? У меня все на месте.

Тут отец Гордона вздохнул.

— Я вздыхаю, — сказал он, — что все у нас на месте. Что все у нас на месте, а Иерахмиеля нет, а Кантониста нет, а Бейлы нет, а Воскобойникова нет.

— Нет Иерахмиеля, — сказала тетя из Литина и заплакала.

— Нет Кантониста, — сказала тетя из Калиновки и заплакала.

— Нет Бейлы,— и тетя из Литина стала рвать на себе волосы.

— Нет Воскобойникова,— и тетя из Калиновки ударила себя в грудь.

Это был вечер, посвященный воспоминаниям. Нескольким лет назад в Кишиневе был погром. Пьяные хулиганы убили Иерахмиеля, убили Контониста, и Бейлу, и Воскобойникова.

Дядя из Кривого Озера сказал:

— Они сами виноваты. Почему они не прятались?

Шурин из Белой Церкви с ним согласился.

— Это не еврейское дело защищаться. Что это за самооборону они выдумали?

А шурин из Каменец-Подольска сказал:

— Это — чистое сумасшествие! Не надо было выходить на улицу с револьвером. Полиция никогда не потерпит, чтобы еврей вышел на улицу с револьвером. Я тоже хочу знать, почему они не прятались? Я же смог забраться на чердак.

— Это — золотые слова,— сказал дядя из Кривого Озера.— Вот же — я живой и здоровый. Почему я такой? Как я только разнюхал, что и у нас начинается, я сейчас же взял всю свою семью, мы оделись потеплее и все залезли в подвал, и мы просидели...

— Э, нет,— прервал его шурин из Каменец-Подольска,— вы сделали глупость, и я вас очень попрошу больше этого не делать. Никогда больше не уходите в подвал. Лучше всего забираться на чердак, а если в городе есть высокий дом, то на самый верхний этаж.

— Ой, Воскобойников!— сказала тетя из Калиновки,— ты был совсем сумасшедший человек. Разве хулиганы пришли на твою улицу? Ты же был в самом центре — там, где живут богатые люди; они же откупились от полиции, они же наняли солдат для своей охраны, но ты вышел со своим револьвером на улицу, ты стал на углу, как сторож, и на тебя наехал казак, он наехал на тебя со своей голой шашкой и разрубил тебе твою неразумную голову. Ой, Воскобойников!

— Когда начнется дело,— сказал шурин из Белой

Церкви,—я обязательно взберусь на самый высокий этаж. Вы говорите чистую правду. Если царь захочет нас бить, так не поможет никакая самооборона.

Что случилось с маленьким Гордоном?

Он раскрыл дверь и остановился на ее пороге, весь белый: он шатался, держался за косяк одной рукой, а другая рука висела, как забытая.

— Это неправда! — кричал он. — Это неправда! Это чистая неправда!

Он так громко кричал, что мать бросилась к нему и стала покрывать сухими поцелуями его белое лицо. Гости вскочили, вышли из-за стола и окружили мальчика.

— Когда начнется погром, — кричал маленький Гордон, — я возьму большой колун, и я его наточу, и я выйду на улицу, как Воскобойников, и буду рубить всем хулиганам головы. И казакам я буду рубить головы, и я возьму большой колун, и я его наточу...

— Успокойся, сыночек, — плакала мать, — успокойся, мой солдатик, начальник мой...

Но маленький Гордон не успокаивался.

— Я не буду прятаться, — кричал он, — я не хочу прятаться в подвале, и на чердаке я тоже не хочу прятаться, и я не хочу...

— Ой, — вскричала мать, — мой наследник!

Она заметила белую пену на губах сына. Он упал на пороге, где стоял. Целый день нельзя было разжать его сдавленные припадком зубы. К вечеру другого дня его откачали. Он скрывался у соседей. Ему было стыдно. Но с того дня ему начали сниться и конь, и доспехи, и слава полководца. Он мечтал о мести врагам, о славе полководца и в то же время боялся крови, а военные книжки читал с отвращением. Он перестал собирать у монополек пробки. Собираение пробок у монополек было одним из любимейших занятий детей его улицы. Пьяницы покупали сотки и полбутылки водки и выпивали ее тут же, выталкивая пробку ударом раскрытой ладони в дно бутылки. В сургучевых крошках валялись пробки. Как-то у монопольки подрались двое пьяниц. Один ударил дру-

гого бутылкой по голове, другой нагнул, шатаясь, и подобрал булыжник. Собиравший пробки Гордон увидел две разбитых головы. Он увидел много крови и перестал ходить к монопошке.

Когда маленький Гордон познакомился с маленькой дочерью городского, Катей, к матери Гордона пришла одна тетя и сказала:

— Нет, из этого не будет ничего хорошего: он — еврейский мальчик, а она — русская девочка. Будут неприятности.

— Я сама знаю, — вздохнула мать, — но разве я смею ему это сказать? Он закричит на меня, мое золото, он затопает на меня, и с ним может приключиться обморок. Я так боюсь этого обморока.

Обморок с Гордоном действительно приключился, но совсем по другому поводу. Он приключился с ним в скором времени, когда отец послал его с туфлями к мадам Ашкенази. Он сшил новые туфли для самой мадам Ашкенази.

Отец сказал:

— Неси осторожно, не испачкай туфли.

Мать сказала:

— Смотри, не упади. Ты можешь сломать ногу.

И маленький Гордон пошел на Николаевскую улицу. Там стоял зеленый особняк мадам Ашкенази. Во дворе были большие собаки. Они всегда лаяли; от этого лай их стал деревянным. Дворник проводил маленького Гордона на кухню. Там была очередь. Много людей ждали мадам Ашкенази. Ждала портниха, — она принесла новую кофту со стеклярусом; ждал приказчик гастрономического магазина Дубинского, — он принес пять кругов колбасы; ждал часовщик, — он принес маленькие золотые дамские часики; ждала девушка с корзиной, — она пришла наниматься в прислугу. Маленький Гордон к ним присоединился.

Прислуга жаловалась:

— Когда же выйдет мадам Ашкенази? Уже час, как я сижу.

Часовщик жаловался:

— С тех пор как я явился, прошло два часа.

Приказчик жаловался:

— Что думает мой хозяин, господин Дубинский? Он думает, что я гуляю-болтаю.

Портниха жаловалась:

— Дома плачут мои детки. Когда же выйдет мадам Ашкенази?

В два часа дня к ним вышла мадам Ашкенази. На ней был ясный, как небо, халат. Из ее высокой прически торчал золотистый гребень.

Когда она вошла, все встали.

Портнихе она сказала:

— Слишком большие складки.

Приказчику она сказала:

— Ваш хозяин — разбойник; передайте ему, чтобы он немедленно сбавил десять копеек с пуда. Возьмите.

Повара взяли у приказчика колбасу.

Часовщику мадам Ашкенази сказала:

— Хорошо, мусье. Вы можете уйти.

Но часовщик задержался.

— Мадам Ашкенази, — спросил он, — а деньги?

— Приходите через пять дней.

— Мадам Ашкенази, я бы хотел получить сейчас. Неужели у мадам не найдется трех рублей за работу?

— Оставьте, — строго сказала мадам Ашкенази. — Он вздумал меня учить! Приходите через десять дней, и я вам заплачу.

— Через десять дней! — воскликнул часовщик. Он так опешил, что ушел, не сказав более ни слова.

Девушку с корзиной мадам Ашкенази не взяла к себе в прислуги.

— У тебя слишком красивые волосы. Такая прислуга в хорошем доме — помеха.

Тогда, наконец, настала очередь маленького Гордона.

Она спросила его:

— Что ты принес?

— Туфли, — ответил он краснея.

— Туфли, — сказала мадам и ущипнула его за щеку. — А в школу ты ходишь?

— Хожу.

— Ну, молодец.— И, посмотрев на всех поваров, горничных и экономок, мадам сказала:— А таблицу умножения ты знаешь?

И мадам еще раз ущипнула его за щеку.

Маленький Гордон молчал.

— Ну,— спросила экономка,— сколько будет семью раз восемь? а?

— Не надо,— ответил Гордон, весь красный.

— Чего не надо?— удивилась мадам.

— Щипаться не надо,— сказал Гордон, чуть отодвинувшись.

Все очень удивились. Но мадам несколько не обиделась. Глядя на Гордона, она сказала всей кухне:

— Нет, не всегда сын похож на отца. Вот и плоды детей! Это сплошное наказание. Его отец такой тихий, такой порядочный, такой самостоятельный человек. Он хорошо знает свое место в жизни: что если он сапожник, то не должен думать, что он бухгалтер или управляющий конторой. Мусье Гордон знает, что если он приходит в дом, то никогда не лезет в залу, а всегда идет на кухню. Это чудно, когда человек знает свое место. У русских есть золотая пословица: «всяк сверчок знай свой шесток». Ах, как это необходимо, чтобы каждый сверчок знал свой шесток!

Она села на стул и стала примеривать туфли.

— Жмет?— спросила экономка.

— Нет еще.

— А сейчас жмет?

— Нет, еще не жмет,— ответила мадам вздыхая.

— И сейчас не жмет?

— Нет.

— Ну, слава богу.

Натянув туфли, мадам прошла по комнате. Разгуливая по кухне, она говорила:

— Нет, из такого мальчика ничего хорошего не выйдет. Разве такой мальчик может стать приказчиком или инкассатором, или коммерсантом? Такие дети — распутники. Они забираются в клозет и курят там краденый табак, потом они отправляются в монопольку и говорят сидельцу: «Эй, сиделец, дай мне за

одиннадцать копеек сотку водки», потом они ругаются, как рабочие, потом они попадают в острог, и там им одевают на ноги кандалы и угоняют их в Сибирь.

Тут мадам Ашкенази подошла к Гордону. Нет, она на него не сердится, она все прощает, уж такой ее создал бог всепрощающей.

Экономка даже остановила ее.

— Мадам,— сказала она,— вы чересчур добрая. Я не в силах это видеть.

Мадам вздохнула.

— Что делать? Сердце!— и она ткнула себя рукой в халат.

Потом она подошла к Гордону и опустила руку на его голову. Она ласкала его.

— Ты можешь стать хорошим мальчиком. Когда тебя спрашивают, сколько будет семью раз восемь, ты должен сразу ответить: пятьдесят шесть. Вот, что ты должен ответить. Великий боже!— и мадам посмотрела на люстру.— Разве я тебе желаю зла? Кто не знает, что мадам Ашкенази— всеобщая благотворительница? Мадам Ашкенази— это всеобщая мать. Кто снабжает невест сорочками? кто выстроил синагогу на Хуторской? кто... одним словом, разве я не всеобщая мать? Ну, скажи, мальчик: кто я?

— Вы...— хотел сказать Гордон и замолчал.

— Ну, говори не бойся.

— Вы дура!— вскричал Гордон и затопал на нее ногами.

Это и был второй припадок, которого так боялась мать. Недаром дочь городского стала замечать в маленьком Гордоне перемену. Он вырезал из книжки картинки с изображениями древних воинов и часто ей показывал.

— Вот Иисус Навин. Он сказал солнцу: «Стой!»

— И солнце остановилось?— спросила Катя.

— А как же!

Он показывал ей Давида.

— Вот Давид. Он был пастухом. И он побил Голиафа. А Голиаф был здоровый, как твой папа. Вот братья Маккавеи. Их семеро. Они пошли драться про-

тив тирана Антиохии.— Вот Иевфай... Он принес в жертву свою дочь.

— Ну, и дурак! — обиделась за дочь Иевфая Катя.

Иногда маленький Гордон уходил с Катей на Николаевское шоссе. Мерцала даль. Цвела долина.

— Смотри, — сказал Гордон Кате, — это — долина Гином. Здесь сжигают преступников. Вот почему тут всегда горит огонь.

— Где же огонь? — спросила Катя. — Я не вижу огня.

— Это неважно, — ответил Гордон и высоко воздел над головой руку.

— Что ты делаешь? — спросила Катя.

— Я останавливаю солнце.

— Но ведь оно уже зашло.

— Это неважно. Мне наплевать.

Как-то он подобрал на шоссе длинную палку.

— Я — пастух, — сказал он. — Я убью Голиафа.

— Не смей трогать моего папу, — испугалась Катя.

— Нет, — ответил Гордон, — пусть живет.

Когда же он стал изображать бой семерых братьев Маккавеев, Катя испугалась еще больше.

— Если ты меня убьешь, я тебя перестану любить, — сказала она.

Она вспомнила про дочь Иевфая.

Маленький Гордон далеко уходил с Катей, до самого цыганского табора, до хутора с его злыми собаками. Однажды в хуторе... Как же назывался хутор? Хутор назывался...

Хутор назывался Медре.

И сторож пустыни заснул.

Он проснулся через одну минуту. Темнота вокруг него была растревожена. Невдалеке ползал человек. Он был сзади. Человек медленно приближался.

Гордон вскочил, вскинул винтовку и выстрелил. В ту же минуту он почувствовал полную близость нападавшего. Он хотел схватить его левой рукой, но человек потащил его за ноги, и оба упали. Близко, у самых глаз, сверкнул серп. Гордон вскрикнул, захлеб-

нулся кровью. Теряя сознание, он слышал еще шаги. Человек убегал.

На выстрел сбежалась вся колония. Грянули еще три ружейных выстрела, один за другим Беглец бросился в лощину, спасаясь от пули. Его настигли. Шухман связал ему руки и запер в конюшню.

Нападавший оказался жителем села Медре, феллахом Сулейманом.